

## К 100-летию со дня смерти Николая Степановича Лескова

Иван Лукаш

## ЛЕСКОВ



И.Репин. Портрет Н.С.Лескова. 1889.

Теперь к Гаршину и Андрееву оборваны все нити, связующие мертвых с живыми. Их мир погас и развеялся, точно его не было вовсе.

А мир Лескова померк ли, запылился ли так же, как «небо в алмазах» Чехова и многое другое, что было и после Чехова? Нет, мир Лескова горит ярко, зловещими и ослепительными огнями.

Нелюбимый, затравленный, жалающийся, невыносимо одинокий Лесков острым углом врежется в свою эпоху, уже сошедшую в ту-

манность, и теперь кажется, что именно Лесков был единственно отлитой формой, твердым утверждением и очерченной до конца фигурой той эпохи, когда все в России теряло формы, смешивало очертания, исходило отрицательством и опростительством, сдвигаясь в хаос чувств и дел, чтобы померкнуть на наших глазах России-сумбуrom.

Как будто один Лесков противостоит надвигающейся мгле, но всегда в борении, и он всегда кажется напряженным, подобранным все жилы и мускулы или для прыжка, или чтобы подставить грудь удару. И его глаза, остро прищуренные, зеленоватые, и жестокая боролка и еж, и сухое, измученное и мучающее лицо, — во всем «строжка» и во всем следы невыносимого борения. Свообразный, необычайный, отдельный во всем, замкнутый в себе, — некий особый мир, только касающийся нашего общего

мира, — такие определения Лескова напрашиваются прежде всего.

Его мир резко отличен от окружающей эпохи, он писатель не своего времени, и уже отсюда его беспощадная расправа с современным ему «обществом». «Левые» отбросили его от литературы, травили с восторгом, и Писарев отдавал приказы, чтобы «ни один журнал не осмеливался печатать на своих страницах что-нибудь, вышедшее из-под пера» Лескова. «Левые» объявили его мракобесом. А «правые», а мракобесы, и среди них такой, как Победоносцев, объявили Лескова «потаенно и хитро-ласковым нигилистом». Все враги. Один.

Не только «правые» и «левые», а все крайности человеческой природы сходились в Лескове. Он несомненно одержимый, а как трудно в одержимости, и особенно русской, отличить святость от бесовщины. В Лескове было и то, и другое.

В его «Войтелинце» с презрительной ненавистью начертана образина русской бабищи, приятной, чернобровой дебелихи, молитвенницы и вместе сводницы. Та же бабища, узелная леди Макбет, купчиха Катерина Львовна, с любовником Сережкой душил отрока Федю именно тогда, — вот именно тогда! — когда отрок читает житие ангела своего Феодора Студита. «Зверь» с доезжачим Храпошкой, «Тупейный художник», или «образочки», вставленные в глазные впадины Платониды, или холодная насмешка над всей мертвой церковностью в «Фигуре» — все это терзающая, Виена Россия, которую увидел Лесков.

Ее внешнему параду он не верит, он издевается над всеми ее «Функендорфами и Кисельвроде», «мечтающими о том, как бы выпороть всю Россию и учредить Парижскую губернию». У Лескова презрение к людям этой России, «бесстыдным людям», по его определению: «Мы, как кошки, куда нас не брось, везде мордой в грязь не ударим, прямо на лапки станем, где что уместно, так себя там и покажем: умирать, так умирать, а красть — так красть». Такой России «остается только погибнуть... Мы — Разсея».

Разсей, от слова разсеяться, вот чем была для Лескова Россия. Подавляющим кошмаром, которому только исчезнуть, сгинуть, — разсеяться. «Наша Россия должна разлететься, wie Rauch» — не то заклинает, не то злорадствует он в «Смехе и горе», со всеми своими ужимочками, со смешком, почти косноязычием.

Видением конца России замыкает Лесков круг русских пророчеств. Видел Пушкин, что его Россия кончится ничтожеством ничтожных и презрительно обозвал русских негритянской кличкой «блондосы». Знал Гоголь, что «русский человек пропащий человек», которого испугает «его ничтожность», и схватил Гоголя «сокровенный ужас при виде тех событий, которым повелел Бог совершиться на земле, назначенной быть нашим отечеством». Те же вещи глаза открылись у Лескова.

И когда он увидел конец России, открылось и его страшное борение за Россию, отчаянная оборона от судьбы.

Отчаянная борьба. Один против всех, — что там «правые» или «левые», весь русский сумбуrom со всеми его людьми, — но один против всех сил, видимых и невидимых, против самой судьбы, может быть, самого Бога, если Бог обрек Россию разсеянию...

«Гляди: святые буквы в книге налились кровью»... Лесков увидел и забился в судорогах. Все, им написанное, один терзающий вопль, и кажется, что Лесков всегда осеняет себя крестным знаменем — «с нами крестная сила».

«Однодум», «Несмертельный голован», «Запечатленный ангел», «Фигура», «Овцебык», «Кадетский монастырь», «На краю света», «Котин долец», «Пугало» — все это значения

того, в чем Лесков видел спасение, выход России из рокового круга. Герои лесковской галереи, кроткие духом и чистые сердцем люди в полноте и красоте своего добродеяния — русские праведники. Лесков их не выдумывал. Он списывал их с природы. Праведники были, на них и полагал Лесков красугольный камень России, ее спасение. Праведники, люди Третьего царствования, по слову апостола Павла «вместилища Духа Святого», именно они, чудак и юроды для всего сумбуromного и несправедливого мира, их окружающего, по вере Лескова, «стоя в стороне от истории сильнее других делают историю». Лесков не верил в Россию, — ни в Пушкина, ни в Петра — всем им разсеяться, но он верил в русских праведников, в праведную Россию человека, делателя божественной правды и справедливости.

«Россия во Христа крестится, но во Христа еще не облелась». Это тоже слова Лескова. Он двойник Гоголя, один у них глаза на Россию и одно терзание за Россию, и одна одержимость, иступленное заклинание, призыв крестных сил за нее, уже обреченную.

Лесков окружил себя русскими праведниками как магическим кругом.

И когда он уставал от битвы с судьбой, он точно закрывал глаза на все, что творится кругом, — на Россию и на ее людей. Он замыкался в своем вневременном круге, — в созерцательной недвижности, в праведном стоянии, — и, как искусный изограф, писал образы своих отшельнических видений. Таковы его «Апокрифы», прекрасные и усталые.

И когда отчаявался Лесков, он потешался, он издевался над всем тем, что все равно должно сгинуть — над Разсей, — и его прославленный язык — язык отчаяния.

Непрерывное искажение слов, причудливое сплетение фраз, нарочитая неправильность, тяжелые груды языковых сочетаний — точно Лесков пишет не на русском языке, на причудливом языке Разсея, Пошехонии или комедии о царе Максимилиане.

Эта гротесковая и нарочитая смесь простонародной, солдатской и департаментской «кожевряжистой» речи, куда еще избыточно влиты четкие минейные обороты и образы. Это смутный язык послепетровского имперского смешения, как бы еще не дошедший до сознания, еще не переработанный им. Именно таким языком говорит лесковская Разсея.

Органическая ткань его рассказа всегда подавлена физиологической языковой тканью. Лесков лепит из языковых образов, он необычайный языковый лепщик. «Левша» без его языка не был бы «Левшой». А ведь это нагромождение потешающих словообразований и почти болезненных словоискажений: «и посредине под валдохинном стоит Аболон Полведерский», и все эти «мелкоскопы», «верюции», «тугаменты», «непромокабли», «морские водогазы» и прочее. То же в «Полунощниках» с известными «фимиазмами». В «Кольванском муже» Лесков немедленно переименовывает одну из героинь Генристу в «Венигрету» и сам замечает: «прозвать ее "Венигретой" могло только наше русское пустосместество».

Пустой смех над пустотой, над тем, чему разсеяться, — часто это и есть смех Лескова.

Причудливую вязь, его необычайные языковые элементы и методы легче всего проследить на изумительном «Очарованном страннике», где сливаются в один сплав такие слова, как «форсисто», «манера», «характер», с такими четьи-минейными словами, как «жарыни», «блыщание», «обнагощенный», где, описывая, например, могущество хана Джангара, Лесков прибегает к удивительному приему «заумности», накопления словесных бессмыслиц: «Хан Джангар в степи все равно, что царь... Царюет и

у него там в Рынь-Песках, говорят, есть свои шихи и ших сады и молозаты, и мамы, и азии, и дербаши, и улыны»...

Язык Пушкина — гармоническая мера необходимости и простоты, всегда процеженная сквозь яркое сознание. Язык Лескова — отказ от сознания.

В лесковском языке все словно дымится и громоздится, и выпячивает несуразности, и сходится в причудливые нелепости.

На русский язык Лесков смотрит как бы со стороны, как может смотреть иностранец, в совершенстве владеющий чужим языком. Лесков всегда, так сказать, надевает языковую маску, прикрывая ею себя.

Иностранец, конечно, «парадоксальное» определение, но для Разсея он несомненно был иностранцем. Его «однодумь», «голованьи» — тоже чудакоты иностранные в этой Разсеи, а «разсейский» язык него как бы чужой язык, который он изображает.

Лесков и в действительности был окружен иностранцами. Он скитался по России, как приказчик англичанина Шкота, управляющего именьями Перовских и Нарышкиных. Семья Шкота воспитывала его так же, как подруга его тетки, квакерша англичанка Гильдегард. Симпатии к англичанам — самые прочные симпатии Лескова. В самой манере изображения, в склонности к чудачкам и причудам есть у него английский вкус.

Внутренний мир Лескова как бы вне русского мира. Лесков как бы вне России. В этом он снова повторяет Гоголя.

В «Переписке с друзьями» Гоголь признается: «Во время пребывания моего в России, Россия у меня в голове разсеивалась» — и так открывает свою, как бы сказать, вне-русскую сущность, или, вернее, необходимость отрыва от русского мира, необходимость духовного пребывания вне его, чтобы узнать ему цену: «Узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее».

Такое познание России и такое добывание любви к ней не исполняется ли на нас, русском рассеянии, пребывающем вне России? Одинокая судьба Лескова и Гоголя не наложена ли теперь на всех нас?

4 февраля 1931 года минет столетие со дня рождения Лескова, в селе Глухове Орловской губернии. Его забытую могилу вряд ли вспомнят в будущем году, как не вспомнили и теперь...

Тридцатые годы, с суровой нянкой из московских солдаток, — были детством Лескова, и отрочеством — сороковые, и молодостью — пятидесятые. Он уже сложился в эпоху Гоголя, и чувствование России он вынес из зрелища николаевских железных времен. Арестанты и кантонисты, палочные учения солдат и плети палачей, мерзость крепостничества — ложь духа, империя белоглазых рабов, его Разсея или угрюмо-покорная и зловещая «Блондосия» Пушкина — смертным страхом и смертной тоской повели Лескова. Мы не знаем тайны пушкинского перстня, но нам понятен талисман Лескова: до самой смерти он носил кольцо, куда был вделан камень «александрит», камень освобождения России от крепости...

Облитая горячими слезами, иступленная любовь к человеку не умолкает на страницах Лескова. «Распинался с Россией и был с распинающими ее», — говорит он о себе. Для него было одно спасение, один путь: человек. А где человек? В отчаянии, среди «мертвых душ» пал Гоголь. За живого человека, со всеми, с самим роком, может быть, с самим Богом, обрешким Россию несправедливому и бесчеловечному концу, боролся Лесков, хромой наш Иаков.

Не человеческой, а бесчеловечской стала Россия на наших глазах. Лесков и теперь в глухом одиночестве, и теперь он писатель не нашего времени. Он писатель будущего, и услышат его, когда будет Россия правды, а не лжи. Россия человеческая, а не бесчеловечская, праведная Россия — если только ей быть суждено.

«Возрождение»,  
16 мая 1930 г., №1809

Москва  
Публикация  
АЛЕКСАНДРА  
БОГОСЛОВСКОГО

Печатается  
по современной орфографии

86

Лесков Н.С.

20.04.95